

Известия. - 1994. - 27 авг. - с. 5.

Эд. ПОЛЯНОВСКИЙ, «Известия»

В ПЕРВУЮ субботу августа на Новодевичьем кладбище родные и близкие сказали о нем последние слова в его неживом присутствии.

Теперь, когда душа его в дороге, и потом, когда она, душа, обносится в глубинах Млечного пути, потом долго, до последнего современника, имя его — актера и человека — будет обрабатываться воспоминаниями. И никто, наверное, не приблизится к сути его человеческой природы: слишком он был в себе. Нездешний человек. Звездный мальчик и юродивый.

Не помню дня и года, когда мы познакомились. Лет двадцать тому. На Центральной студии документальных фильмов закончили короткий, двадцатиминутный фильм, к которому я был причастен. Редактор искала диктора, чтобы озвучить текст, и неожиданно позвонила Смокуновскому.

— А о чем фильм? — знакомый мягкий голос.

— О природе, о том, что... — редактор проникновенно передала тему.

— Да-а, — в тон ей отвечал Иннокентий Михайлович, — природу надо беречь, надо беречь. Я очень, вы знаете, люблю природу, очень. А сколько вы, извините, платите? — спросил он без паузы тем же проникновенным вкрадчивым голосом.

— Восемнадцать рублей за часть. Нет, больше не можем, у нас такие расценки. Мы даже Хмаре по восемнадцать платим.

— Извините, нет.

— А вы сколько бы хотели?

— Ну, рублей сто. Ну, семьдесят.

— О-о!..

Магическое имя — деньги нашлись.

Когда Смокуновский вошел в студию, когда двинулся по просторному холлу вниз, кто-то из небритой кинопублики у стены громко окликнул.

— Привет, Кеша! Что, деньги пришел зарабатывать? А зачем они тебе?

Ему бы, не повернув величественной головы, пройти мимо. Но он растерянно оглянулся, остановился посреди зала и смущенно, тихой скороговоркой стал объяснять:

— Ну почему же... Знаете ли... у меня семья, дети...

Балбесы у стены загоготали.

Работы было немного, от силы — на час.

Даже заурядные дикторы относятся к озвучиванию документальных лент, как к халтуре. Я наблюдал, как работал один из самых расхожих дикторов. С разгона, поставленным голосом он однообразно прочел текст. На замечания редактора и автора реагировал нервно: «Нет, здесь не надо перечитывать, здесь все правильно», «И здесь все хорошо», «Извините, мне некогда». Он спешил то ли на радио, то ли на какую-то провинциальную эстраду читать классические стихи. Высокомерно и раздраженно заявил: «Вам надо было приглашать меня, а диктора?»

«А кто то?» — спросил я тихою интонацией редактора. «Он считает себя артистом», — улыбнулся редактор.

Смокуновский вошел, разделся, устроился поудобнее в кресле, поставил рядом свой знаменитый термос с чаем, с которым не расставался никогда. Несколько минут разговора ни о чем — для атмосферы, для контакта. И:

— Ну что, начнем, пожалуй?

То, что началось дальше, мне видеть не приходилось — ни прежде, ни потом. Не без стеснения я спросил: «Нельзя ли эту фразу прочесть еще раз? Здесь логическое ударение — в конце». «Да? — он пробегает текст, что-то шепчет. — Ну, давайте попробуем». — «А вот здесь, в середине, надо бы с паузой». — «А-а, давайте-давайте, я готов». Он читает, останавливается сам: «Разрешите, я этот абзац перечитаю!». — «Но все прекрасно». — «Нет-нет, можно лучше, я чувствую». Потом, снова по своей инициативе, перечитывает весь текст от начала до конца. «Извините, а можно я эти два слова переставлю, мне так легче читать?». Переставляет. Все хорошо, но он опять просит: «Здесь я чуть-чуть зачистил, давайте повторим»...

Уже поздний вечер. Группа устала. Мы работаем без перерыва пять (!) часов. Наконец все облегченно вздохнули: конец текста. Смокуновский, отхлебнув чай, просит: «Давайте, я все-таки еще раз прочту — последний, от начала до конца. А вдруг это и будет лучший вариант». Снова перечитывает.

За его спиной уже были известные миру гениальные художественные ленты. Ну что ему этот маленький документальный фильм, вполне рядовой?

Работал Мастер.

Я знавал и теперь знаю людей, которые назначают цену своей продукции, в том числе журналисты, писатели — своим строкам. Мне это непривычно, но, открывено говоря, почему нет? Человек знает себе цену, вот и все. Вам это не подходит — возьмите другого. Это по существу и есть рынок. Разница между цивилизованным рынком и толкучкой в том, что назначить цену может только поставщик высококачественной продукции. Мастер.

Он, может быть, поскромничал. За эти многоотрадные часы заурядный диктор-многоотрадный легко заработал бы больше.

...Прошло немало лет. Он забыл тот день и вечер. Мы познакомились снова, теперь уже прочно.

МЛЕЧНЫЙ путь, сказал я вначале, Млечный путь, его светлые провалы. Если чья-то родственная душа пожелает теперь поведаться с ним, если кто-то, перейдя в Вечность, захочет... словом, ищите его там.

Я не зря наметил его место-пребывание.

Он не только мог, но просто должен был умереть много раз. Вернее — погигнуть. Как могли его взять на войну, на передовую, и что он там делал? Худой, сутулый, нескладный. Застенчивый. Какой он защитник Родины,



# ГОРИ, ГОРИ ЕГО ЗВЕЗДА...

его самого нужно защищать.

Такие обычно шли в народное ополчение, их убивали первыми. Что-то в военной судьбе еще можно совместить с его обликом. Например, плен.

— Кормили нас баландой, в которой вместе с кашками болтались, извините, кал животными. К нам приходили немецкие агитаторы, звали в армию Власова. Угощали шоколадом. После каждого визита с ними уходило не меньше звзда. Человек двадцать — тридцать. Я бежал из лагеря, когда нас вели к печам, сжигать. Спрятался под мостом.

Тут не надо отгаив — душевная выдержка вместе с отчаянием.

Но ведь заслужил же боевые награды, медали именно «за отвагу». Одна из этих медалей наша его недавно, спустя полвека (!). Он с донесением переходил вброд протоку на Днепре.

— Почему выбрали меня, а? Догадаетесь.

Смокуновский улыбается, встает из-за стола, расправляет грудь, убирает сутулость.

— Я же высокий был. Да-а. Метр восемьдесят четыре... Мы становимся в затылок друг другу, меряемся ростом. Тело его, распрямившись, потрясаясь растет на глазах, как в мультфильме, — какая-то другая сторона странности и гениальности его организма, — он весело, азартно смеется.

Но и этот его воинский поступок, почти как и плен, еще можно соотнести с штатским обличьем. Не сходитс другое — главное.

Главное несоответствие гражданского человека и его места на войне — там надо убивать. Откуда взять отвагу на передовой, где убийство — главное средство к достижению цели.

Кеша, восемнадцатилетний нескладный юноша из глухомани, стал командиром отделения автоматчиков.

В середине восьмидесятых, сорок два года спустя, Иннокентий Михайлович отправился в Польшу, на места боев. Там он стал разыскивать деревенку, в которой он был, наверное, ближе всего к смерти. Разыскал не без труда. В деревенке — двухэтажный дом, не то школа, не то почта, и страшный двор, где его убивали. Почти убили. Он бродил по двору, пытался вспомнить имена.

Однажды я застал Иннокентия Михайловича за делом несвойственным: он редактировал рукопись будущей книги воспоминаний.

Документальная повесть так и называлась — «Двор».

«Всех нас было человек 150 или немногим больше, тогда же казалось около двухсот, и в этом невольном преувеличении повинно, пожалуй, простое чувство самосохранения...»

Они были окружены, и «всей жизни оставалось каких-нибудь 2-3 часа».

Началась с артиллерийского обстрела. Точнее, с расстрела: немцы били прицельно. Двухэтажный кирпичный дом показался хрупкой декорацией. Те, кто не был убит, неподвижно ждали смерти. Один лишь молодой, худосочный старшина пытался помочь раненым. Это был Смокуновский.

« — Эй, солдат... не мучь его, видишь он отходит... — Я хотел помочь ему... — В этом помочь не надо. На столе, запрокинув голову и как-то особенно шумно дыша, сидел, неловко прижав к руку, еще один раненый... У бедняги были сорваны все нижние ребра с правой стороны

груди, да, собственно, она вся была срезана, открыта, зияла огромная темная дыра, и при вдохе темно-синяя с перламутровым отливом плевро легкого, клокоча и хлюпя, выходила неровными скользкими вздутия наружу. Как он терпел!

— Ну где же они! — взмолился раненый. Он звал санитаров. Нависла тишина. Тишина была неприятной, долгой, нехорошей.

И хотя меня уже одернули, выговорили, что суюсь не в свое дело, я все же подошел к нему.

Он поднял дикие глаза и, так же хлюпя легкими, остановился взглядом на мне.

— Ты перевяжи, — прохрипел он.

Восемнадцатилетний чахлый старшина бродил, как привидение, и собирал бинты. «Эй, дождя, — окликали его, — вот, возьми».

«...Перевязать несчастного надо до конца не удалось. Автоматные очереди с противоположной стороны улицы, истерически захлебываясь в шальном азарте, прорезали окна и двери.

Ночь уступила место страшному карнавалу».

Атаку они отбили. Ждали новой.

«Поистине нужно было обладать недюжинным запасом душевных сил, чтобы продолжать жить, видеть, говорить, чувствовать после случившегося в ту ночь... Приблесте тишины, мы ждали рассвета, наивно надеясь, что его приход избавит нас от предстоящей заведомо обреченной схватки.

Дело в том, что нас осталось четверо».

Мы никогда не представляли Смокуновского таким — в крови и грязи, с автоматом и гранатами. Он, собственно, описывает не героизм, но мужество даже, свое или чужое, чем страдают многие вспоминатели. Здесь выписан ад.

Домой, в Красноярск, было отправлено извещение: «Ваш сын, Смокуновский Иннокентий Михайлович... пропал без вести».

В те военные годы старшина Смокуновский с передовой не уходил.

Задумывался ли о непрочности жизни, краткости ее? Еще в детстве, задолго до войны.

«Часто поздним вечером на пологой крыше погребя, запрокинувшись на спину, лежал, радостно замирая под властью темного звездного неба, не объяснимо маяясь, волнуясь от чуда мироздания, и Млечный путь, казалось, неотступно манил в свою хрустальную глубину, завораживал далью и обещал в конце усилий, познаний и труда приобщить к своему вечному мерцанию».

Звезды манили и затягивали его в свою небесную воронку.

Он гораздо ближе к нам, чем кажется, — Млечный путь.

ТАЛАНТЛИВУЮ прозу его — не всю, конечно, отрывки — опубликовала «Неделя» — щедрая, на двух полосах, с фотографией. Читая и перечитывая эту прозу, я повторяю то, что уместил в маленьком предисловии: даже если бы Иннокентий Смокуновский в той страшной войне потерял руку или ногу, если бы, то есть, он вернулся домой не весь, не целиком, и театральный занавес никогда бы для него не открылся, он все равно состоялся бы как талантливый человек.

Вечная тема — об интеллигенции, значит ли она что-то сегодня для России, о распри, даже расколе внутри. В последние годы

мне казалось, что слой истинной интеллигенции истончился до прозрачности. Особенно остро это чувствовалось после каждой очередной утра.

Прошлым летом хоронили Владимира Яковлевича Лакшина, на панихиде мы стояли со Смокуновским рядом, я сказал тихо: — Все. Уходят последние интеллигенты.

— Неправда, — как-то жестко ответил он. — Вы посмотрите, какие лица вокруг и сколько их. Это неправда, — повторил уже мягче, словно успокаивая себя.

Люди, действительно, собрались — на редкость. Благородные лица с неисчезнувшими за советские десятилетия следами пороги. Их в самом деле было много. Собранные вместе, они внушали надежду и даже силу.

После панихиды в рассеивающемся зале к нам, точнее к Иннокентию Михайловичу, подошли Олег Ефремов и директор МХАТа Вячеслав Юрьевич Ефимов. Олег Николаевич выглядел прекрасно, свежо, моложе своих ранних киногероев.

— Ну что, едешь? — спросил он Смокуновского.

Речь шла о предстоящей в мае — июне 1994 года поездке в Сибирь, по Енисею, со спектаклем «Возможная встреча». Нынче путешествовать с размахом, как прежде, театру, даже такому, как МХАТ, не под силу. А этот спектакль — неразритель. Декорации невелики и... всего три актера. Но какие! Смокуновский, Ефремов, Любшин.

— Поеду. Если... ко мне заедет? Там же рядом — моя Родина.

— Зачем тебе? Там же ничего не осталось, — Ефремов.

— Заедем-заедем, — директор МХАТа. — Когда мы там были (видимо, ездили на разведку. — Авт.), подошла какая-то старуш-

семью... Вы знаете — я струсил... Да, я струсил. Мы со своей авоськой... пошли обратно.

Потом, впоследствии, всю жизнь я помнил об этом, я сокрушался: ну почему, почему я отступил, почему не пошел, почему не сделал этого шага. Ну пусть бы остановили, схватили... Но шаг-то я бы сделал!.. И, может быть, Андрею Дмитриевичу было бы, наоборот, легче, что я вот к нему шел... что он не один.

Мне и сейчас стыдно, я чувствую себя трусом...

Но вот теперь я принес вам покаяние, и мне стало легче...

Потом Смокуновский читал Пушкина. Читал странно — предельно, нарочито упрощенно, с большими паузами, теряя рифмы. Читал как белые стихи, поэжалуй, даже как прозу. Это Пушкина-то, первого поэта России! Смокуновского много ругали за эту манеру, считали ее кощунственной. Но вот слух притерпелся, привык, и в сопровождении музыки строки приобрели вдруг необычное действие: воздушное становилось земным, далекое — близким, сегодняшним, Российским.

...И паруса надулись, ветра полны; Громеда двинулась и раскакает волны. Плывет.

Куда же нам плыть?..... Из Дома медиков мы возвращались по Тверскому бульвару.

— Вы действительно волновались?

— Да-а, что вы. И я действительно не знал... с этим покаянием... Мне этот пьяный очень понравился.

— Как?

— Он опустил меня на землю, и я понял — надо.

Оказалось, что при всей своей сценической власти, он волнуется перед каждым спектаклем и не всегда чувствует себя в форме.

— Но иногда... Но иногда открываешь занавес, я выхожу, вижу в полутьме первые ряды и чувствую: О-о, милые — все, сегодня вы — мои... Иногда иду знакомое или доброе лицо и играю для него, так мне легче. А сегодня я ведь, когда вышел, вас в заднем ряду увидел. Я же вам знак подал, когда стихи читал. А вы и не увидели, не поняли? Ну, как же.

На Пушкинской площади мы прощаемся, он снова повторяет: — Хорошо, хорошо, что я все это сказал сегодня. Мне теперь, правда, легче.

Иннокентий Михайлович натягивает шапку глубоко на глаза, чтобы никто не узнал его, и садится в троллейбус.

Чудаковатый, в чудаковатой шапке-мухоморке, улыбка которой стекает далеко вниз, он через окно машет мне рукой. И никто из нас не знает — ни он, ни я, что эта наша встреча — последняя.

КАК человек не от мира сего, он, словно незрячий, наткнулся на острые углы бытия.

Однажды, спустя много времени после павловской денежной реформы, он позвонил мне около двенадцати ночи.

— Вы знаете, я только что обнаружил в книге тысячу пятьсот рублей. Я забыл про них, не обменял... — голос был жалобный. — Помогите, посоветуйте...

Через несколько дней я перезвонил, поинтересовался, как дела. Трубку сняла Саломея Михайловна, жена.

— Да бросьте вы этим заниматься, — сказала она. — О забытых деньгах он забыл уже...

Как-то в переходе Пушкинской площади нам навстречу вывалилась пьяная компания, какой-то пареня на ходу грубо толкнул Иннокентия Михайловича, он беспомощно обернулся вслед. Я увидел на его лице страдание.

После смерти мне рассказали друзья, как вечером он возвращался домой в троллейбусе, как-то хулиганы подскокнули, сорвали с головы его любимую шапку-мухоморку. И он продолжал ехать — растерянный, оскорбленный, униженный, сразу всеми узнаваемый.

РЕПАТИЦИИ, спектакли, съемки в кино, концерты, записи на радио — он невероятно много работал. На этот год были большие планы — закончить съемки у Владимира Наумова в фильме «Белый снег», съездить со спектаклем на родину, на Енисей, продолжить книгу воспоминаний. Он собирался писать о своей жизни в театре.

Еще в ленинградском БДТ в 1962 году у него случились первые сердечные приступы.

— Тяжело... сердце зажимает... Спустила тридцать два года, в конце января 1994-го, случился инфаркт.

У кинематографистов есть такой термин — «уходящий объект». Это может быть уходящая осень, улетающие журавли, отцветающий сад.

Уходящим объектом в «Белом снеге» был белый снег. В феврале, еще не отойдя от инфаркта, прервав реабилитацию, Смокуновский вынужден был продолжить съемки. Фильм успели закончить. Потом было озвучивание. Лишь после озвучивания, через два дня, он уехал в Подмосквовье долечиваться.

Там и скончался.

Но почему вынужден был? Кто вынуждал? Режиссер? Но он такой же крепостной: деньги на фильм дал западный миллионер.

Прежде, когда кино субсидировало государство, кажется мне, даже самый реакционный министр по делам кино мог разрешить перенести срок сдачи картины.

Преждевременно, говорим мы каждый раз вслед тому, кто уходит. Сегодня это ритуальное слово относится и к самому времени, в котором он нас оставил. Сегодня его светлая рассеянная личность была бы нужнее, чем когда-либо. Многие нынешние бесстыдства, в том числе и в кино, он как бы прикрывал застенчивой улыбкой, и при всей пошлости и дурмане вокруг, все казалось — пока есть такие, как Иннокентий Михайлович, еще не все потеряно.

Пожил бы еще, до лучших времен, помог бы нам одним своим присутствием.

Преждевременно. Фото Виктора АХЛОМОВА.